



Никита Семин

СЫН ПОМЕЩИКА 14

Никита Семин

Сын помещика 14

«Автор»

2026

Семин Н.

Сын помещика 14 / Н. Семин — «Автор», 2026

События в Петербурге развиваются стремительно. Анна решила жить самостоятельно, уйдя от Романа и Анастасии. Работа с двигателем внутреннего сгорания тоже не стоит на месте, а скоро Романа ждет и выступление перед самим императором. Но бешеный столичный темп заставляет делать ошибки, и если расслабиться хоть на мгновение, то это тут же обернется ударом судьбы. Однако Роман не привык сдаваться - он доведет все свои начинания до конца

© Семин Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	21
Глава 4	28
Глава 5	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Никита Семин

Сын помещика 14

Глава 1

20 декабря 1859 года

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

До чего же иногда раздражают нынешние нравы! Никто в двадцать первом веке не заморачивается, если парень и девушка живут вместе под одной крышей. Многие психологи наоборот советуют решившимся на брак молодым людям сначала пожить вместе, прежде чем бежать в загс. Так можно оценить человека в быту и понять — комфортно ли тебе с ним не только на свидания ходить, но и видеть каждодневно, разделять бытовые обязанности, посмотреть, кто как на них реагирует. А тут, в девятнадцатом веке... нельзя. Моветон.

Я молчал, обдумывая слова Насти. Сказанное ей было горькой современной для нас правдой, которую мы оба упустили из виду за хлопотами прошедшего дня. Настя смотрела на меня, ожидая ответа.

Два пути. Съехать к Ане — значит расстаться с Настей на неопределенный срок, видаться урывками, на людях, под присмотром чужих глаз. Мы только-только начали привыкать друг к другу, только-только между нами установилась та особенная, молчаливая близость, когда не нужно слов, чтобы понять настроение другого. Терять это ни ей, ни мне не хотелось. Она стала частью моей жизни — незримой, но ощутимой, как воздух. Особенно теперь, после всего случившегося.

Повенчаться досрочно — мысль, которую я прокручивал в голове последние минуты. Звучало заманчиво. Но до моего совершеннолетия оставалось около трех месяцев, и без согласия родителей венчание стало бы не просто бюрократической преградой, а прямым вызовом. Отец и мать хотели присутствовать на нашей свадьбе. Петр Егорович — тем более. Если мы провернем все тайно, без них — обиды хватит на годы. Да и в свете это будет выглядеть как скандал: жених и невеста обвенчались второпях, явно что-то скрывая. Репутация наша, еще толком не созданная, рухнет, не успев окрепнуть. И тут мозг подкинул мне воспоминание, которое заставило думать в ином направлении. Мы ведь просматривали недавно газеты с объявлениями и там встречались самые разнообразные предложения. Одно из которых нас может здорово выручить!

— Оба варианта плохи, — сказал я вслух. — Но есть и третий.

Настя подняла на меня глаза.

— Какой?

— Нанять компаньонку. Женщину, которая будет жить с нами. Как для детей нанимают няню или гувернантку — так и здесь. Почтенная дама, вдова или девица в возрасте, которая поселится в квартире и станет твоей компаньонкой. Тогда никто не скажет, что мы живем вдвоем без присмотра.

Настя замерла. Я видел, как пробежали по ее лицу тени — недоверие, расчет, облегчение. Она открыла рот, закрыла и вдруг выдохнула:

— Это... это может сработать.

— Сработает, — подтвердил я. — Компаньонки — дело в Петербурге обычное. Порядочная девушка и молодая дама почти всегда имеют при себе компаньонку. Почему бы и тебе не завести?

— Да, — проговорила Настя, и голос ее ожил. — Да, Роман. Это выход! — она прижала ладони к щекам, словно проверяя, не сон ли это. — Боже, почему мы сразу не подумали?

— Потому что устали и перенервничали, — сказал я. — Но теперь думаем.

Настя вдруг заторопилась. Она прошла к столу, схватила вчерашние газеты — те самые, что мы просматривали утром в поисках квартиры для Ани — и принялась лихорадочно их перелистывать.

— Там были объявления, — бормотала она. — Я помню, видела. «Благородная вдова ищет место компаньонки», «Девушка из обедневших дворян...» — где-то здесь.

— Настя, — я взял ее за руку, останавливая, — уже вечер. Завтра поедешь.

— Нет, — она покачала головой с неожиданной твердостью. — Сейчас. Прямо сейчас. Я не хочу сидеть и ждать. Мне... мне нужно чем-то занять себя. Отвлечься.

Я понял. Мысли об уходе сестры, о том, что Аня теперь одна в чужой квартире, все еще не отпускали ее. Искать компаньонку — дело хлопотное, оно займет и руки, и голову.

— Хорошо, — сказал я. — Но одну не пушу. Поедем вместе.

— Можно... — вдруг Настя посмотрела на меня грустным взглядом, — можно я сама? Хочу сама себе ее выбрать. Не обижайся, но твое присутствие будет на меня давить.

Я опешил. Пожелание Насти показалось мне странным, но спорить я не стал.

— Тогда тебя будет сопровождать Тихон, — все же внес я поправку в ее желание. — Уже темнеет, и Петербург — не Царицын, вечером на улицах всякое бывает.

Настя кивнула — кажется, с облегчением от того, что я не стал спорить. Она склонилась над газетами и быстро выписала несколько адресов на отдельный листок. Я тем временем кликнул Тихона, велел одеваться и сопровождать барышню.

— Куда ехать-то? — уточнил мой слуга, привычно застегивая тулуп.

— Барышня скажет, — ответил я. — Будь внимателен и от Анастасии ни на шаг. Сопровождать ее будешь и тогда, когда она выйдет из кареты и в дома заходить станет.

— Сполню, господин, — кивнул парень.

Настя накинула шубку, повязала платок. У дверей обернулась ко мне — и улыбнулась, впервые за весь день.

— Я вернусь не одна, Роман, — сказала она. — Вот увидишь.

— Увижу, — отозвался я. — Жду.

Дверь за ними закрылась. Я остался один.

В квартире сразу стало тихо. По-настоящему тихо — той тишиной, какая бывает только в пустом жилье, из которого только что ушли люди. Я прошелся по комнатам, поправил лампу, подбросил дров в печь. В спальне сестер — бывшей спальне — стояла только одна заправленная кровать, Настина. Вторая казалась голой без постельного белья, которое Аня забрала вместе со своими вещами. И эта картина лишь подчеркивала, что наша жизнь переменилась.

Я вернулся в зал и сел к столу. В голове было пусто. Накатывало понимание, как круто в одночасье повернулась наша жизнь. Мой взгляд бездумно шарил по раскиданным на столе газетам, пока не зацепился за объявление — фабрика Павла Сазикова набирает учеников для обучения серебряному и золотому делу. А вот это уже интересно. Я ведь обещал Ане помощь в поиске ювелирного мастера. Но в тот момент думал о Елене Павловне. Однако зачем тревожить Великую княгиню по мелочам, если удастся решить вопрос своими силами? Надо обязательно показать Ане это объявление, а лучше — съездить вместе с ней на ту фабрику. Посмотрим, примут ли ее в ученицы.

От фабрики мои мысли перескочили на иные незавершенные дела. Венявский. Я обещал Генрику нарисовать его портрет — еще в субботу, если не ошибаюсь, он обещался прийти. Но почему-то не пришел. Может, случилось что? Замотался, как я сам, и забыл? Однако в любой момент может вспомнить. Да и мне сейчас лучше занять себя каким-то делом, чтобы отвлечься. Настя по тем же причинам именно сейчас сорвалась на поиски компаньонки.

Я взял карандаш и чистый лист бумаги. Портрет по памяти — задача не из легких, но лицо Генрика я помнил хорошо: высокий лоб, живые, чуть насмешливые глаза, тонкие тща-

тельно расчесанные усы. Особенно запомнились руки — длинные, нервные пальцы музыканта, всегда в движении. Я сделал первый набросок — лицо анфас. Потом второй — вполоборота, с приподнятой бровью, как он обычно слушал собеседника. Потом третий — быстрый скетч кисти руки, лежащей на грифе скрипки.

Рисовал я легко, почти не задумываясь. Карандаш скользил по бумаге, и с каждым штрихом напряжение этого дня понемногу отступало. Искусство вообще умело возвращать мне равновесие — я давно заметил это за собой. Когда мир снаружи начинал идти вразнос, кисть или карандаш становились чем-то вроде якоря.

Через полчаса передо мной лежало четыре скетча. Не картины, конечно — так, живые наброски — но характера в них было больше, чем в ином парадном портрете. Я взял все, присыпал угольный карандаш мелким песком, чтобы не смазлся, и убрал листы в папку.

Затем сел и быстро набросал записку для Насти: «Уехал к Венявскому, адрес знаешь. Если вернешься раньше — не волнуйся, буду к десяти. Располагайся с компаньонкой как дома. Р.»

Оставив записку на столе, я оделся, взял папку со скетчами и вышел. Адрес Генрика я помнил: он не раз приглашал меня заходить запросто, без предупреждения, и всякий раз добавлял, что дверь его для друзей открыта в любое время. Что ж, решил я, спускаясь по лестнице, сегодня и проверим, насколько это правда.

Квартиру Венявский снимал в доме на Большой Садовой — добротном, с лепниной на фасаде и швейцаром у входа. Швейцар, узнав мою фамилию, кивнул и пропустил без лишних расспросов: Генрик, как видно, и впрямь предупредил, что его дверь для меня открыта.

Поднявшись на второй этаж, я еще с лестницы услышал гул голосов. У Венявского были гости. Я на мгновение заколебался — неловко врываться без приглашения, когда у человека собралось общество, но отступить было поздно. И постучал.

Дверь открыл сам хозяин. Увидев меня, он сперва изумленно вскинул брови, потом расплылся в улыбке — той самой, открытой и чуть ироничной, которую я запомнил с первой нашей встречи.

— Роман Сергеевич! — воскликнул он, отступая в сторону. — Вот так сюрприз. Я, признаться, уже думал, что вы обо мне забыли. Проходите, проходите. У меня тут небольшая компания — свои люди, музыканты. Вам будут рады.

Я вошел. В гостиной, освещенной парой канделябров, сидели трое: молодой человек с растрепанной шевелюрой и расстегнутым воротом сорочки, дама средних лет в темном платье и пожилой господин с окладистой бородой, по виду — из профессоров или отставных военных. На низком столике перед ними стояли бокалы с красным вином и тарелка с бисквитами.

— Господа, — провозгласил Венявский, подводя меня к гостям, — позвольте представить: Роман Сергеевич Винокуров. Тот самый молодой человек, о котором я вам давеча рассказывал.

Я вежливо поклонился. Дама окинула меня оценивающим взглядом, юноша кивнул рассеянно, старик прищурился с любопытством.

— Я, собственно, не с пустыми руками, — сказал я, обращаясь к Генрику, и раскрыл папку. — Помните, я обещал вам портрет? Я сделал несколько набросков.

Венявский оживился. Он взял у меня листы, поднес к канделябру и принялся разглядывать. Гости тоже потянулись посмотреть — дама даже привстала с кресла.

— Позвольте, — пробормотал Генрик, переводя взгляд с одного скетча на другой. — Это вы по памяти?

— По памяти.

— Невероятно. Вот здесь, — он указал на скетч вполоборота, — я себя просто вижу. Это же мой взгляд, моя манера голову держать. А вот этот, с рукой... — он всмотрелся в набросок пальцев, лежащих на воображаемом грифе, — ей-богу, Роман Сергеевич, вы колдун.

— Никакого колдовства. Просто я внимательно на вас смотрел, пока мы беседовали.

Генрик еще несколько мгновений изучал скетчи, потом отобрал два — тот самый, вполоборота, и второй, анфас.

— Эти, — сказал он решительно. — Из этих двух выйдет отличный портрет. В ракурсе есть движение, а анфас — для солидности. Что скажете?

— Скажу, что вкус у вас отменный, — ответил я. — По этим наброскам и буду работать. Хотя ваше личное присутствие изрядно помогло бы. Но понимаю, все мы занятые люди.

Он вернул мне листы, и я убрал их обратно в папку. Гости, удовлетворив любопытство, вернулись к своим бокалам; дама что-то негромко сказала пожилому господину, тот кивнул. Венявский подхватил меня под локоть и отвел к окну, где стояли два свободных кресла.

— Посидите еще, — предложил он. — Хотя бы полчаса. Расскажу новости.

Я согласился. Настя, если и вернется раньше, увидит мою записку и не станет волноваться. А полчаса я вполне мог себе позволить.

Мы сели. Генрик налил мне вина из графина — легкого, красного — и некоторое время молчал, словно подбирая слова.

— Тут недавно история одна произошла... — начал он наконец. — Я с Модестом Петровичем ходил к Рубинштейну. По поводу ваших песен. Как вы понимаете, Модест никак не может успокоиться, — горько усмехнулся он.

— Боюсь, его ждет разочарование — своего мнения я не изменю, — осторожно заметил я в ответ.

— Так вот, — Венявский отпил глоток, — после этого мы с Модестом едва не рассорились, — удивил он меня. — Окончательно и бесповоротно. Рубинштейн, вашу музыку отверг — не потому, что плоха, а потому, что не вписывается в его понимание школы. Он — западник, ему нужны консерваторские правила, дисциплина, форма. Мусоргский же, наоборот, видит в ваших песнях то самое «новое русское направление», о котором он грезит. Они разругались прямо там, в кабинете у Антона Григорьевича. Модест ушел к Балакиреву — у них, знаете ли, целый кружок, «Могучая кучка», как они себя в шутку называют. А я остался.

— Почему? — спросил я.

— Потому что не люблю жечь мостов, — Венявский пожал плечами. — Рубинштейн — глыба. С ним можно спорить, но рвать отношения глупо. Мусоргский вспыхивает быстро, я — нет. Но суть не в этом, — он наклонился ко мне, понизив голос. — Я хочу предупредить: Модест о вас не забыл. Он считает, что вы должны быть с ними — с Балакиревым, с Кюи, с Бородиным. Ваша музыка, говорит, самородна, и ей место среди тех, кто ищет национальный путь, а не в консерваторских классах. Так что будьте готовы — он может нагрянуть к вам снова. И тянуть будет уже не к Рубинштейну, а в кружок Балакирева.

Я кивнул, принимая это к сведению. Мусоргский с его горящими глазами и яростной убежденностью был, конечно, симпатичен — но сейчас мне меньше всего хотелось ввязываться в музыкальные распри. Впрочем, пока он не пришел — и думать не о чем.

— Теперь другое, — Венявский сменил тон, сделавшись деловитым. — Ваша труппа. Помните, мы с Модестом взялись за аранжировки? Так вот, работа идет. Те песни, что мы успели обработать до нашей размолвки, труппа уже выучила. Получилось довольно недурно — не хочу хвастать, но звучат они теперь совсем иначе, чем под одну гитару. Богаче, плотнее. Инструменты добавляют глубины. Я, кстати, и сам теперь играю с ними — не смог удержаться.

— Вы? — я удивленно посмотрел на него. — Играете в уличной труппе?

— А почему нет? — он усмехнулся. — Моя скрипка не ревнива и не брезгует иными инструментами. Ей все равно где, лишь бы петь. Так вот, я подумал: почему бы нам не высту-

пить на настоящих подмостках? В каком-нибудь театре. Не в Мариинском, конечно, туда нас не пустят, но есть театры поменьше, частные, где публика попроще и директора поговорчивее. Сыграть программу из ваших песен. Большую, на час-полтора. Я думаю, это будет событие — для тех, кто ищет новую русскую музыку не в консерваториях, а на улице. Что скажете? Вы не против?

Я задумался. Предложение было неожиданным, но по сути — разумным. Труппа, которую я собрал, чтобы исполнить одну единственную песню, нуждалась в работе. Аранжировки Венявского, его участие, его имя — все это выводило доверившихся мне и пошедших за мной людей на новый уровень. Я ведь не собирался вечно таскать труппу за собой. Эти люди должны были иметь возможность работать самостоятельно.

— Я не против, — сказал я. — Более того — выступайте смело. Труппа может работать и без меня. Вы — ее музыкальный руководитель, и я вам полностью доверяю.

Генрик просиял.

— Превосходно! Я начну переговоры с дирекцией на этой неделе.

— Но есть одно условие, — добавил я. Венявский насторожился. — Если меня позовут выступить на... высоком уровне, скажем так, и мне понадобится труппа для этого выступления, я попрошу вас и их вернуться под мое начало. На время. Вы понимаете, о чем я.

Я не стал называть имен: Елена Павловна лишь обмолвилась о том, что мне предстоит выступление перед императором, но не дала твердых обещаний. Да и просила не особо распространяться на эту тему. Но Венявский, как видно, понял меня правильно. Он кивнул — медленно, с уважением.

— Понимаю. Такие приглашения не обсуждают заранее, но и не отказываются от них. Договорились: труппа — моя, пока вы не позовете. Тогда мы все вернемся.

Мы допили вино. Я бросил взгляд на часы — прошло около получаса, как и планировал. За окном совсем стемнело, в гостиной Венявского стало уютно и тепло, но мысли мои уже были дома: вернулась ли Настя, кого она нашла, как устроилась.

— Мне пора, — сказал я, поднимаясь.

Венявский не удерживал. Он проводил меня до двери, пожал руку и уже на пороге добавил:

— Не пропадайте, Роман Сергеевич. И помните про Мусоргского. Он — человек порывистый, но искренний. Если придет — выслушайте.

— Выслушаю, — пообещал я и вышел на лестницу.

На улице мороз крепчал, но после теплой квартиры он даже бодрил. Я поймал извозчика и через четверть часа уже поднимался по лестнице доходного дома. Дверь в квартиру была закрыта. Я отворил ее своим ключом и вошел, ожидая увидеть перемены.

Увы, в квартире было тихо и пусто. Я зажег лампы в зале и прошел на кухню, попить воды. Насти не было — значит, поиски затянулись. Чтобы не сидеть без дела и не изводить себя бесплодным ожиданием, я достал папку со скетчами Венявского, укрепил на мольберте лист бумаги и принялся за работу.

Карандашный набросок основного контура занял около четверти часа. Я перенес лицо Генрика на бумагу — то самое, вполоборота, которое он выбрал: высокий лоб, чуть приподнятая бровь, линия скулы, уходящая в тень. Когда контур лег уверенно, я смешал краски и начал класть первый слой. Писал легко, без натуги: подмалевок теплой охрой, затем — телесный тон, первые мазки по фону. Работа увлекла меня, как всегда увлекала живопись — в эти минуты я переставал думать о времени и обстоятельствах, оставались только цвет и форма.

Хлопнула входная дверь. Я отложил кисть и вышел в прихожую.

Настя стояла на пороге, раскрасневшаяся от мороза, и, как обещала, была не одна. Рядом с ней переступала с ноги на ногу молодая женщина — на вид лет двадцати пяти, невысокая, в простом, но опрятном пальто и темном платке. Она держала за руку маленькую девочку —

туго укутанную, в вязаной шапочке, из-под которой выглядывали светлые кудряшки и насто-
роженные серые глаза.



— Роман, позволь представить, — заговорила Настя, снимая шубку. — Александра Владимировна Березова. А это ее дочь, Софья.

Я поклонился.

— Роман Сергеевич Винокуров, — сказал я. — Рад знакомству.

И тут произошло нечто странное. Александра Владимировна сперва смотрела на меня спокойно, с тем вежливым любопытством, какое бывает у человека, впервые видящего хозяина дома. Но стоило мне произнести фамилию, как лицо ее переменялось. Сперва — едва заметная заминка. Потом — откровенное удивление, словно она узнала меня и не могла поверить своим глазам. Брови ее дрогнули, губы приоткрылись, и она замерла, не успев ответить на приветствие.

— Что-то не так? — спросил я.

Она опомнилась. Тряхнула головой, будто отгоняя наваждение, и торопливо, чуть сбивчиво ответила:

— Простите, ради бога. Мне показалось... — она не договорила. Ее взгляд заметался по прихожей, скользнул по вешалке, по двери в зал и вдруг упал на стопку газет, лежавшую у стены — тех самых, которые мы утром просматривали с Аней. Что-то в ее лице снова переменялось — уже тоньше, почти неуловимо, так что я не смог бы сказать, что именно, и она, справившись с голосом, спросила: — Простите мою бестактность, но... это ведь вы — автор крестословицы? Той самой, что вышла в «Современнике»?

— Я, — кивнул я. — Вы читали?

Лицо ее осветилось — и на этот раз удивление было уже другого рода, смешанное с почти детской радостью узнавания.

— Читала! — выдохнула она. — И не просто читала — сама разгадывала. Все слова подобрала, кроме одного. А теперь вижу автора во плоти... Петербург большой, а свел нас вот так, на пороге вашей квартиры, — она неловко улыбнулась и добавила: — Просто не ожидала, честное слово.

Объяснение выглядело складным. Читательница, удивленная встречей с автором — что ж, такое и впрямь случается. Я улыбнулся в ответ, и Александра Владимировна, кажется, окончательно успокоилась. Маленькая Софья тем временем разглядывала меня с тем серьезным, изучающим вниманием, какое бывает только у детей, еще не научившихся скрывать любопытство.

— Анастасия, проводи Александру Владимировну и ее дочь в спальню, — сказал я. — Пусть располагаются.

Настя кивнула и повела гостью и девочку в дальнюю комнату, ту самую, где еще утром она жила вместе со своей сестрой. Я вернулся к мольберту, но работать уже не мог — стоял, прислушиваясь к голосам за стеной. Через несколько минут Настя вышла. Она приблизилась ко мне нерешительно, остановилась в двух шагах и посмотрела виновато — так смотрят дети, когда ожидают нагоняя.

— Роман, — начала она, — я должна рассказать, как все вышло.

Я отложил кисть и повернулся к ней.

— Что-то не так? — поднял я бровь.

Хотя конечно то, что будущая компаньонка Насти пришла с ребенком, не могло меня не удивить. Возможно, с этим и связано поведение девушки.

— Понимаешь, — Настя заговорила быстро, слегка запинаясь, — я поехала по первому адресу. Дама, которая дала объявление, ее звали Марья Семеновна, уже нашла себе место. Но когда узнала, что я ищу компаньонку, сказала, что у нее есть подруга — Александра Владимировна. Вдова. И что та согласится, если я не буду против присутствия ребенка, — Настя перевела дух. — Муж Александры умер полгода назад от лихорадки. Она осталась одна с малюткой на руках, без средств, без родни. Перебивается случайными заработками. Сама она не

дворянка, но воспитание у нее самое аристократическое — манеры, речь, вкус. Где она его получила, Марья Семеновна не знает: Александра ей этого никогда не рассказывала.

Настя замолчала, теребя край платка. Потом подняла на меня глаза и сказала уже тише:

— Мне стало жалко ее, Роман. И я подумала: может, это знак? Если мне нужна помощь, почему бы не помочь той, кто сама в нужде? К тому же Софья... при ее виде я просто не смогла бы сказать «нет», — она слабо улыбнулась. — Скажешь, глупо?

— Не глупо, — ответил я. — Сколько она просит?

— Двадцать рублей в месяц. Стол и комната — с нас.

Цена была умеренной. Я прикинул — двадцать рублей при наших расходах погоды не делали, а спокойствие Насти стоило куда дороже.

— Хорошо, — сказал я. — Пусть остается, ты ведь ее уже выбрала. А там посмотрим.

Настя просияла. Она порывисто сжала мою руку, пробормотала «спасибо» и ушла обратно в спальню — помогать новой компаньонке обживаться. А я остался у мольберта и вновь взялся за кисть. Но работа не шла. Что-то мешало — маленькая заноза, засевшая в мыслях.

Я снова и снова возвращался к тому мгновению в прихожей: лицо Александры Владимировны, когда она услышала мою фамилию. Удивление. Растерянность. Почти испуг. Я видел это ясно — не придумал, не домыслил. И объяснение про крестословицу вышло складным, но... слишком уж быстро она перевела взгляд на газеты. Будто искала, за что зацепиться, чтобы скрыть другую причину.

Я отложил кисть и задумался, глядя в темное окно. Может, мы раньше где-то виделись? Возможно ли, что это отголосок «прошлого Романа», до моего вселения в его тело? Он ведь жил здесь, в Петербурге. Учился. За полгода благодаря тренировкам я сильно вытянулся и раздался в плечах. Если сравнивать меня нынешнего и того парня полгода назад, то можно даже подумать, будто это два разных человека. Но почему у меня самого чувство, что я видел эту женщину раньше? Неужто память Романа хочет что-то подкинуть, как было в первые недели моего вселения? Нет, тут что-то иное. Тогда на меня накатывало, как «озарениями». Сейчас же...

Тряхнув головой, я постарался отстраниться от всех этих мыслей. Подсознание — штука причудливая. Если мы виделись раньше, или эту женщину видел прошлый Роман, то я обязательно об этом вспомню. Просто чуть позже.

Глава 2

20 декабря 1859 года

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

Когда за девушками закрылась дверь, Настя обернулась к Александре и вдруг почувствовала неловкость — все-таки она осталась наедине с человеком, которого видит впервые, а теперь им предстояло жить в одной комнате. Впрочем, Александра улыбнулась ей просто и открыто, и напряжение спало.

— Ну вот, — сказала Настя, кивая внутрь спальни. — Теперь это наша с вами комната. И Софья.

Она провела Александру в бывшую спальню сестер. Комната выглядела полупустой: одна кровать аккуратно заправлена, вторая стояла голая — только деревянный остов, с которого Аня сняла белье, оставив голый матрас. В углу помещался платяной шкаф, у окна — маленький столик с зеркальцем.

— Вот здесь будете спать вы с дочкой, — Настя указала на пустую кровать. — Правда, кровати для Софьи у нас нет. Но мы что-нибудь придумаем.

Александра огляделась. Комната была скромной, но чистой, с высоким потолком и белеными стенами. Из окна тянуло холодком, однако печь, протопленная с утра, еще держала тепло. Она сняла с дочки шапочку — светлые кудряшки рассыпались по плечам, расстегнула на ней пальто и усадила на край пустой кровати. Софья немедленно принялась разглядывать узор на покрывале Настиной соседней кровати, водя по нему маленьким пальчиком.

— Располагайтесь, — сказала Настя. И чуть подумав, добавила, — а я пока кликну Тихона.

Она вышла в коридор и позвала слугу. Тихон явился через минуту, вытирая руки о штаны.

— Чего изволите, барышня?

— Сходи до домовника, — распорядилась Настя. — Спроси, нет ли у него кровати для дитя. Или хоть какой люльки. Скажи — на время, мы заплатим.

Парень кивнул и, не задерживаясь, вышел. Настя вернулась в спальню. Александра тем временем уже развязала свой узел — тот самый, с которым они приехали — и принялась раскладывать вещи. Движения у нее были скупые, точные: сразу видно, что женщина привыкла обходиться малым и каждая тряпица у нее на счету. Она вынула две сорочки — свою и дочкину, стопку чулок, завернутый в чистую холстину гребень, жестяную кружку и маленький, сильно потертый саквояж, в котором что-то глухо звякнуло. Все это она аккуратно разложила на подоконнике, пока шкаф оставался свободным.

— Давайте я помогу, — предложила Настя и, не дожидаясь ответа, открыла дверцы платяного шкафа. — Вот сюда можно повесить платье. А сюда — белье. Полку для мелочей я освобожу.

— Благодарю, — Александра говорила негромко, но голос у нее был приятный, грудной. — Вы очень добры.

— Какая уж тут доброта, — смущенно пожала девушка плечами, перекладывая стопку своих платков на верхнюю полку. — Мне самой было бы страшно одной в чужом городе. Без мужа, с ребенком на руках...

Она осеклась, испугавшись, что сказала бестактность. Но Александра только кивнула, соглашаясь, и ничего не ответила. Она достала из своего скудного багажа еще один сверток — на этот раз мягкий, перевязанный лентой, и развернула его. Внутри оказалась тряпичная кукла с вышитым лицом и льняными волосами.

— Держи, Сонечка, — она протянула куклу дочери.

Девочка схватила ее, прижала к себе и тут же принялась нашептывать что-то, укачивая.

— Она у вас такая спокойная, — заметила Настя, глядя на Софью.

— Вечер уже, устала, — ответила Александра. — Вообще-то она у меня бойкая. Как проснется завтра — вы ее не узнаете.

Они продолжали раскладывать вещи: Настя перебирала свои платья, освобождая место для новой компаньонки, Александра выкладывала на стол немудреные дорожные мелочи — щетку для волос, моток ниток, игольницу. Двигались они молча, но в этом молчании не было неловкости — скорее, та осторожная, пробная слаженность, какая возникает между людьми, которым, возможно, предстоит долго жить бок о бок.

Хлопнула входная дверь — вернулся Тихон. Он прошел к спальне и остановился в дверях, держа в руках деревянную раскладушку. Сооружение выглядело неказистым, но добротным: рама из темных брусьев с натянутыми поперек сеткой веревками.

— Кроватки нет, барышня, — доложил он, ставя раскладушку у стены. — Домовник говорит — не держим, потому как спросу нет. А это, как вы помните, ваша, дорожная. Помните, спали на такой? Три штуки тогда сработали. Они сейчас в сарае местном хранятся, одна уже и рассохлась, а у другой мыши веревки поели, но вот эта еще целая.

— Ой, точно, — Настя всплеснула руками. — Я и забыла про них. Здорово, что ты вспомнил.

— Вот только матрасика к ней нет, — поскреб затылок Тихон, смущенный похвалой. — Но можно посмотреть те спальники ваши дорожные — целы ли еще.

— Посмотри, — решительно кивнула Настя. — И сюда носи самый целый. А пока раскладушку эту вот здесь поставь, у стенки. И спасибо тебе.

Тихон пробормотал, что это его работа, перенес раскладушку в указанное место и, переглянувшись с Александрой (та коротко улыбнулась ему), вышел. Настя взялась поправлять веревки, проверяя, не порвутся ли.

— Простите, что не кровать, — сказала она Александре. — Но для Сонечки, думаю, в самый раз будет.

— Что вы, — Александра подошла, потрогала натяжение веревок. — Для нее это целое богатство. Последние две недели мы спали на полу, на тюфяке, и то хорошо было.

Она говорила об этом без жалобы — просто сообщала факт. И этот тон тронул Настю больше, чем любые слезы или причитания. Она вдруг остро ощутила, какая пропасть лежит между ее собственной жизнью — пусть и небогатой, но сытой и теплой — и тем, через что прошла эта женщина.

— Александра Владимировна, — начала она, все еще поправляя раскладушку, — просто чтобы не стоять без дела, можно мне вас кое о чем спросить?

— Спрашивайте.

— Вы видели Романа Сергеевича — в прихожей. Я заметила, вы как будто... — она замялась, подбирая слова. — Удивились. Сильно. Это вас его фамилия смутила?

Александра на мгновение замерла. Потом взяла со стола гребень, повертела в пальцах и положила обратно.

— Смутила, — призналась она. — Но это личное. Связанное с моим прошлым. Простите, если я вела себя странно. Просто фамилия Винокуровых мне... знакома.

— Вы знаете их семью? — глаза Насти округлились.

— Только фамилию. Бывают, знаете ли, совпадения. И простите, но... я не хочу ворошить прошлое.

Настя кивнула, хотя любопытство разгоралось в ней все сильнее. Александра тем временем взяла с подоконника кружку, осмотрела на свет — нет ли трещин, и, словно между прочим, спросила:

— А Роман Сергеевич — он ведь не местный родом? Не петербургский? Вы говорили, что прибыли издалека.

— Нет, — охотно отозвалась Настя. Она была рада сменить тему на ту, о которой могла говорить свободно. — Он из-под Дубовки. Дворянин, наследник своего рода. В Петербург мы приехали по ходатайству Николая Карловича Краббе. Уж очень господину контр-адмиралу понравилась песня, которую придумал Роман. А я напросилась с ним, ведь мы помолвлены. И с нами поехала еще и моя сестра, — на этих словах на лицо Насти опустилась грусть. — А сейчас Анна решила жить отдельно, вот и... — она окончательно замолкла.

— А ваша родня? — поспешила Александра отвлечь девушку от грустных мыслей. — Они не были против вашего путешествия?

— Мой отец — боевой офицер, капитан корабля. Он был в рейде, когда мы поехали. А родители Романа не перечат ему. Считают достаточно взрослым. Да и от подобных предложений, которое он получил, не отмахиваются, — ответила Настя.

Несколько минут они болтали о прошлом Романа и Насти. Александра вела разговор ненавязчиво, и тут же отступала, если девушка о чем-то не хотела говорить. Наконец все вещи были разобраны, Тихон принес спальник для Сони, куда ее и уложили. Девочка заснула почти мгновенно, из-за чего разговор между Насти и Александрой затих.

С минуту обе молчали.

— А вы сами, Александра Владимировна, из каких краев будете? Местная или тоже приехали издалека? — спросила Настя, решив, что расспросы должны быть обоюдными. — Мне показалось, что выговор у вас не петербургский.

Лицо Александры на мгновение затуманилось — так бывает, когда человек смотрит не на собеседника, а куда-то внутрь себя, в давние картинки, которые словами не передашь.

— Я не местная, тут вы не ошиблись. Мы с вами даже из одной губернии. Но прошлое я хотела бы оставить там же и не вспоминать.

— Прошу прощения, — вздохнула Настя, досадуя, и на то, что затронула болезненную тему у своей компаньонки, и что не может ничего узнать о ней сверх того, что та сама уже рассказала.

— Давайте спать, — предложила Александра. — День выдался хлопотный.

Настя согласно кивнула, и девушки улеглись на свои кровати. Однако сон сморил Александру не сразу.

Разговор с Анастасией разбередил ее память. Разговор и он — Роман Винокуров. Сын Сергея Александровича Винокурова. Ее дяди.

Сначала, когда она услышала фамилию и полное имя юноши, девушки опешила. Не смогла скрыть своих эмоций. Хорошо, что вспомнила о недавней новинке в журнале с тем же именем, и удалось перевести тему. Потом Александра решила, что просто встретила полную тезку своего кузена. Но осторожные расспросы Анастасии отвергли эту версию. Перед ней тот самый Роман, ее двоюродный брат, которого она помнит еще совсем ребенком.

Память подкинула девушке момент их самой последней встречи.

Летний день, двор их усадьбы в Дубовке. Ей семнадцать, и она держит за руку младшего брата — Антошу. У ворот останавливается экипаж, из него выходит дядя Сергей — высокий, шумный, с вечной сигарой в зубах. За ним — его жена Ольга, беременная третьим ребенком, уже тяжелая на сносях. А рядом с ними мальчик Рома, всего лет девяти, с живыми черными глазами и большими оттопыренными ушами, которые взрослые дразнили, а он страшно обижался. И дочка Винокуровых — Людмила, жмущаяся к ноге брата и бросающая на Зубовых настороженные взгляды. Ей тогда года три было, не больше.

«Сашенька! — кричит дядя Сергей, раскрывая объятия. — Как ты выросла! Роман, не мнись, поприветствуй кузину. Сашенька, помнишь Романа? Вы виделись на Рождество».

Она помнила. Тот мальчик — тоненький, застенчивый — который теперь стоял перед ней в прихожей петербургской квартиры, но уже взрослый, возмужавший, с уверенной повадкой и

глубоким голосом. Она не узнала его в первый миг — и неудивительно: прошло больше шести лет. А он ее и подавно не узнал, назвал «Александрой Владимировной», поклонился как чужой.

Винокуровы. Родители изгнали Александру из рода, наверняка запретили упоминать ее имя за семейным столом. Только Антон, младший брат, иногда писал — коротко, сухо, тайком от родителей. Последний раз они виделись недавно — Антон приезжал получать офицерский патент. Тогда же дал Александре немного денег на жизнь, благодаря которым она и дотянула до сего дня.

Александра открыла глаза. В комнате было тихо, только Софья посапывала во сне. За стеной слышались шаги — Роман еще не спал. Александра посмотрела на свои руки, сложенные на груди. Когда-то эти руки знали только вышивку и клавиши фортепиано. Потом научились стирать в холодной воде, месить тесто, укачивать больного мужа, менять компрессы. Теперь они лежали без дела — впервые за долгое время у нее была передышка. Крыша над головой, тепло, обещание жалованья.

И Роман.

Родная кровь. Сын дяди Сергея, с которым она играла в прятки в дедовском саду. Кто бы мог подумать, что судьба сведет их так — в Петербурге, в чужой квартире, где она теперь компаньонка у его невесты? Не прислуга, но и не родной человек.

Стоит ли открыться ему? Мысль эта жгла, как уголек в ладони, от которого и больно, и не хочется бросать. С одной стороны — кровь не водица. Он, может быть, обрадуется, поможет, найдет для нее место получше. А с другой... С другой — он Винокуров. Ближайшая родня ее прежней семьи — Зубовых. А Зубовы от нее отказались. Кто знает, что ему говорила семья все эти годы? Что двоюродная сестра опозорила род, связавшись с простолюдином? Что она — вычеркнутая, забытая, не существующая больше. А если он из тех, кто чтит семейные устои? То он может просто выставить ее вон. И тогда — конец. Снова улица, мороз, голодная дочка. Снова управляющий, требующий плату, которую ей нечем отдать.

Александра стиснула зубы. Нет. Не сейчас. Она не может рисковать. Сначала надо осмотреться, понять, каким вырос Роман, каковы его взгляды, насколько он привержен родовым предрассудкам. Настя говорит — он хороший. Настя вообще смотрит на него влюбленными глазами, что не удивительно, а влюбленные глаза многого не видят.

Но если судить по тому, что она увидела сама — Роман не показался ей жестоким или чванливым. Скорее — собранным. Спокойным. С той особенной повадкой человека, который привык отвечать за себя и за других. И смотрел он на Настю с теплотой. Это было заметно.

Значит, с Настей ей пока и нужно держаться. Через нее — узнавать, через нее — понимать, кем стал Роман и каковы его отношения со своей семьей и Зубовыми. И Александра решила ничего ему не говорить. Во всяком случае — пока.

С этой мыслью она наконец уснула. Рядом тихо дышала Софья. За стеной, в зале, стихли шаги — Роман тоже лег спать.

Царицын

Петр Егорович возвращался из порта в сумерках. Декабрьский день выгорел быстро, как свечной огарок, и теперь над Волгой стояла та особенная плотная темнота, какая бывает только зимой у большой воды — ни звезд, ни месяца, только ветер тянет с реки колкой крупой.

В порту он пробыл до обеда, а задержался из-за Тихомирова — портового инженера, с которым пришлось осматривать шхуну и составлять ведомость работ. Приказ из Адмиралтейства пришел вчера: по весне «Тарантулу» доставят паровой котел, и к тому времени судно должно быть готово к его установке. Никаких чудес парового века — всего лишь вспомогательный двигатель, который позволит шхуне маневрировать в штить и не зависеть от буксиров. Но даже такая малость требовала переделки кормовой части — усилить шпангоуты, перебрать

обшивку в районе машинного отделения, подготовить фундамент под котел, а главное — уже сейчас вытопить судно из льда, пока Волга не схватилась намертво, и отвести его в сухой док.

Собственно, этим и были заняты его мысли, пока он шагал по обледенелой мостовой к дому: успеют ли, хватит ли рабочих рук, не подведет ли погода. Лед уже встал у берега — тонкий, еще прозрачный, но с каждым морозным днем он будет нарастать, и тогда выводить шхуну станет вдвое тяжелее. Люди Тихомирова уже начали окалывать корпус, и утром Петр Егорович распорядился ставить вокруг шхуны рогожные щиты — чтобы уберечь лед от нового смерзания. Тихомиров кряхтел, но согласился.

Мысль о том, что его шхуну будут переделывать, отзывалась в Петре Егоровиче странным чувством — смесью хозяйственной гордости и смутной тревоги. С одной стороны, новшество сулило преимущества. С другой — он слишком привык к своему судну таким, каким оно было: деревянный корпус, паруса, снасти, все знакомое до последнего шпангоута. Всякий капитан знает — корабль, который прошел с тобой не один рейд, становится почти живым существом. И менять в нем что-то — все равно, что делать операцию близкому человеку. Но приказ есть приказ.

Вторым делом, которое занимало его не меньше, чем шхуна, был Кулаков.

Борис Романович просил осторожно — не спугнуть, не насторожить раньше времени. И Петр Егорович понимал резон: Александр Иванович был не из тех, кто станет ждать, пока вокруг него сомкнется кольцо. Купец второй гильдии, с солидным оборотом и не менее солидными связями — с таким не тягаются в открытую, если нет на руках бесспорных бумаг. А с бумагами дело обстояло худо. Петр Егорович навел справки через своих людей в портовой таможне. Никто ничего не видел, а кто, может, и видел — молчал. Скупой товар, который он уже выявил, несомненно относился к контрабандным. Но Кулаков и здесь умудрился выйти сухим из воды — документы на груз были в порядке, а свидетели враз вспомнили, что «ничего такого не примечали».

У офицера была мысль: купец действует через подставных лиц. Сам наверняка и близко к товару не подходит. Чтобы взять его с поличным, нужно было либо внедрить своего человека в цепочку поставок, либо перехватить груз в момент передачи. И то, и другое требовало времени. А время поджимало — Борис Романович дал понять, что сам сидит у Кулакова на крючке и если не поторопиться, то это может аукнуться уже Михайлову и его дочери.

Петр Егорович поморщился, потер переносицу — жест, который у него появлялся всегда, когда дело не шло. Ладно. Утро вечера мудренее, а завтра он собирался встретиться с одним отставным унтер-офицером из береговой стражи — тот, по слухам, знал подходы к грузчикам Кулакова и мог подсказать что-то дельное.

С этими мыслями он подошел к дому.

В прихожей его встретила Клара Васильевна. Она стояла у вешалки, держа в руке сложенный телеграфный бланк. Лицо ее — обычно спокойное, даже строгое — было встревоженным. При виде мужчины она подалась вперед, словно ждала его с самого утра.

— Петр Егорович, — сказала она, и голос ее, глуховатый от волнения, прозвучал громче обычного. — Телеграмма. Из Петербурга. От Романа Винокурова.

Мужчина снял перчатки, не сводя глаз с ее лица. Клара Васильевна служила в их доме почти пятнадцать лет, вынянчила обеих дочерей и умела держать лицо при любых обстоятельствах. Если она встревожена — значит, дело нешуточное.

— Дайте сюда, — сказал он и взял бланк.

Телеграмма была короткой — в несколько строк. Он прочел раз, потом еще раз, уже медленнее. Анна решила жить отдельно от сестры и Романа Винокурова. Съехала. Роман сообщал об этом факте — без подробностей, без объяснений, но сам тон, даже скупой, телеграфный, выдавал растерянность.

Петр Егорович опустил руку с бланком и несколько мгновений стоял молча.

Перед глазами встало недавнее — Милашин. Иван Сергеевич, когда-то спасенный Скородубовым. У офицера даже была мысль породниться с ним — ведь старшая дочь, Анна, понравилась этому молодому человеку. Но потом он начал чудить. Писал, будто Роман Винокуров силой удерживает сестер при себе, шантажируя их ложным пророчеством. Будто девушки не вольны распоряжаться собой. Скородубова задела его слова — ведь о своих дочерях он переживал искренне. Но тогда все удалось разъяснить: Милашин не смог предъявить никаких доказательств, свидетели его слова опровергли, и на этом вроде все и затихло. Так думал Петр Егорович, но...

Но теперь — Анна съезжает.

Это могло ничего не значить. Простое решение взрослой девушки, которая захотела жить отдельно от сестры и будущего зятя. Мало ли причин — захотелось самостоятельности, или не сошлись характерами. Анна всегда была своенравной, в мать. Но совпадение с недавним скандалом беспокоило Скородубова. Слишком уж близко одно к другому.

— Что там, Петр Егорович? — тихо спросила Клара Васильевна.

— Анна съехала с квартиры, — ответил он, складывая бланк. — Роман пишет — будет жить отдельно. Вот и все, что известно.

— Как же так? — всплеснула руками няня. — Одни, в Петербурге, без отца!.. А где она теперь? С кем?

— Этого Роман не сообщает. Пишет, ждать письма.

Он прошел в гостиную, не раздеваясь, и остановился у печи. Огонь гудел за чугунной дверцей, и Петр Егорович, глядя на пляшущие языки пламени, пытался выстроить в голове картину.

Если бы он мог — немедленно отправился бы в Петербург. Бросил бы все — и шхуну, и модернизацию, и Кулакова — и выехал бы завтрашним караваном. Он знал за собой эту черту: когда дело касалось дочерей, служба отходила на второй план. Однако долг превысил эмоциональный порыв. Ехать ему не меньше трех недель, а за это время многое еще перемениться в Петербурге может. К тому же нарушить свое слово, данное Борису Романовичу, он не вправе.

— Клара Васильевна, — сказал он. — Подайте чай. И будьте добры, принесите чернила и бумагу. Я напишу дочерям и Роману.

Она кивнула и вышла, а Петр Егорович остался стоять у печи. За окном завывал ветер с Волги, и где-то вдалеке, в порту, перекликались пароходные гудки — низкие, протяжные, словно сама река стонала от холода.



Мысли ворочались тяжело. Анна. Что с ней? Неужели Милашин опять что-то затеял? Или причина в другом — просто взрослая жизнь, просто характер, просто Петербург, который меняет людей?

Он поймал себя на том, что сжимает кулак, и заставил себя разжать пальцы. Толку от ярости сейчас не было. И впрямь, лучше попить чайку и успокоить расшалившиеся эмоции.

Глава 3

21 декабря 1859 года

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

Утро началось с топота. Маленькие пятки — босые, шлепающие — пронесли по коридору, и следом донеслось сдавленное шипение Александры:

— Софья, тише! Разбудишь всех!

Я открыл глаза. За окном только-только серело — декабрьский рассвет в Петербурге не спешит, цедит свет по капле. Спал я, как обычно, в зале и теперь лежал, прислушиваясь к тому, как за стеной возится маленький человек, а мать пытается поймать его и одеть.

Из кухни тянуло съестным — теплым хлебом и топленым маслом. Звякнула сковорода, и женские голоса завязались негромким разговором. Александра и Настя. Надо же, впервые кто-то в этой квартире встал раньше меня.

Я сел, потер лицо ладонями, прогоняя остатки сна. Вчерашний день все еще стоял в голове — Анна, ее решение жить отдельно, появление Александры, странный ее взгляд на мою фамилию. Но утро брало свое: из кухни смеялись, Софья уже, кажется, забралась на табурет и теперь колотила по столу ложкой, требуя каши.

Когда я вошел, Настя как раз ставила на стол чугунную сковороду с яичницей. Раскрасневшаяся от жара печи, она улыбнулась мне — но как-то смущенно, пряча глаза.

— Доброе утро, — сказал я и кивнул Александре.

Та сидела у окна с Софьей на коленях. Девочка уже успела перепачкаться в муке — видимо, помогала матери с тестом — и теперь сосредоточенно вытирала щеки о рукав платья. Александра перехватила ее руку, покачала головой, но без строгости.

— Вы уж простите, Роман Сергеевич, — сказала она. — Соня у меня ранняя пташка. Всю квартиру на ноги подняла.

— Ничего, — ответил я и сел к столу. — В деревне я привык вставать затемно.

Настя разложила яичницу по тарелкам, поставила рядом тарелку с блинами и пристроилась рядом. Вид у нее был слегка виноватый.

— Я хотела помочь Александре Владимировне с завтраком, — сказала она, понизив голос, — но, кажется, только мешалась. Она все сама делает, а я... ну, ты знаешь. В последнее время я от кухни отвыкла.

— Ничего страшного, — Александра улыбнулась ей через стол. — Я привыкла сама. А вы, Анастасия Петровна, не переживайте — всему свое время. Будет и от вас помощь.

Она говорила это без тени упрека, но Настя все равно покраснела и принялась торопливо есть. Я посмотрел на нее и подумал: да, в доходном доме была кухарка, от которой Тихон приносил нам завтраки, а в Царицыне, как мне кажется, у Скородубовых чаще готовила их няня. Не удивительно, что Настя не привыкла стоять у плиты. Но дело, кажется, было не только в этом — ей хотелось показать себя хозяйкой, а вышло наоборот. Я тронул ее руку под столом, успокаивая, и она благодарно кивнула.

После завтрака я отправился выполнять свой привычный тренировочный комплекс. Девушки остались на кухне убирать со стола, а вот маленькая Софья увязалась за мной. И с любопытством смотрела, как я приседаю, отжимаюсь и провожу подъем пресса. Через несколько минут в зал заскочила встревоженная Александра.

— Уф, вот ты где, — выдохнула она, увидев дочь. И тут же смутилась, обратив внимание на меня. — Простите, что ворвалась без стука. Просто Соня затихла, а это явление недоброе — по своему опыту сужу. Она вам не докучает?

— Все хорошо, — успокоил я девушку.



Сама Софья в этот момент решила начать подражать мне: легла на пол животом, уперлась ручками в пол и попыталась отжаться. Получилось скверно, но она не сдавалась, вызвав улыбку умиления у матери. Там и Настя подошла. Вот она смутилась больше, но не от открывшегося вида, а потому что вспомнила свое желание заниматься со мной по утрам. Поэтому моя тренировка из одиночной плавно перешла в зарядку у всех присутствующих. Только Александра больше следила за дочкой, чем тренировалась.

После того, как размялся, я объявил, что поеду к Анне.

— Навещу, посмотрю, как она устроилась, — сказал я, надевая пальто. — А потом, если получится, съездим с ней на фабрику Сазикова. Может, пристрою ее ученицей.

Настя понимающе кивнула. Александра с любопытством спросила:

— Это та самая Анна, ваша... будущая свояченица?

— Да. Настя, ты поедешь? — повернулся я к любимой.

— Нет, — она покачала головой. — Мы с Александрой хотели пирог испечь. К тому же Анна просила дать ей время освоиться и обещала сама прийти позже, — грустно закончила она.

Мне Анна не говорила, что хочет все решать самостоятельно. Но мало ли, может на словах она решила не обращать внимания на пророчество, но подспудный страх никуда не делся,

потому и не просит меня не лезть в ее судьбу. Поэтому так и решили. Настя с Александрой остаются, а я отправляюсь к Анне.

Когда я вышел в морозное утро, то непроизвольно поежился. Петербург стоял белый, припорошенный ночным снежком — легким, сухим, поскрипывающим под сапогами. Тихон уже разогрел карету, куда я с удовольствием и уселся.

Мысли были невеселые. Анна. Решительная, гордая, своенравная — как и ее отец, капитан Скородубов. Она решила жить отдельно, и я не мог и не хотел ей этого запрещать. Она взрослый человек, который вправе распоряжаться собой. Но на сердце скребли кошки. Что, если ей там одиноко? Что, если попадется дурной сосед? Что, если...

Я оборвал себя. Анна — не ребенок. И потом: если она захочет вернуться, дверь всегда открыта.

К ее новому дому я подошел ровно в тот момент, когда входная дверь распахнулась, выпуская на улицу знакомую фигуру в сером пальто и теплом платке. Анна. Стоило ей меня заметить, как лицо ее — сперва удивленное — озарилось улыбкой.

— Роман! — она шагнула навстречу. — Вот уж не ожидала. Что-то случилось?

— Да вот, шел мимо, — пошутил я в ответ. — Решил провести, как ты первую ночь одна провела. Не страшно было?

— Ни капли, — она мотнула головой, и из-под платка выбилась темная прядь. — Дом хороший, соседи не шумят. Спала как убитая. А ты что — один? Анастасия не с тобой?

— Настя с Александрой Владимировной дома. С нашей новой компаньонкой, — пояснил я. — Да ты, наверное, с ней еще не знакома — вчера поздно все случилось.

Тут лицо Анны залила краска стыда.

— Точно, — прошептала она. — Ведь вам неместно вдвоем под одной крышей оставаться, а я и запамятовала. Только о себе подумала...

— Брось, все хорошо, — махнул я рукой. — Лучше скажи, куда ты так торопишься?

— Роман, помнишь, мы газеты разбирали? Так там было одно объявление о наборе учеников на ювелирную фабрику. Фабрика Павла Сазикова, может, слышал? Там школа при мануфактуре, учеников набирают. Вот я и подумала — почему бы не попытать счастья? Подумала — схожу, узнаю.

— Надо же, — я хмыкнул. — А я как раз к тебе с этим и шел. Хотел предложить вместе съездить.

— Нет, — замотала она головой. — От меня вам только беды. Как с Милашиным получилось, и даже мой уход вам проблемы принес. Не хочу еще больше вас утруждать.

— Ты это брось, — нахмурился я. — Никого ты не утруждаешь.

— И все же — я хотела бы сама.

Я вздохнул. По ее взгляду было видно — переубедить девушку не получится.

— Береги себя. И если у тебя вдруг не выйдет, или будет беда какая — ты не стесняйся и не думай, что нас утруждаешь: смело обращайся.

— Хорошо, — облегченно улыбнулась Аня. — Я сама, Роман. Правда. Ты не обижайся, но мне хочется попробовать. В конце концов, я уже взрослая, и пора самой что-то решать.

— Я не обижаюсь. Только пообещай: расскажешь потом, как все прошло. И если не получится со школой — не вешай нос. Придумаем что-нибудь еще, — снова добавил я. — Хочешь — на другую фабрику, или частного мастера найдем. Варианты есть всегда.

— Договорились, — кивнула она.

Мы постояли еще минуту на морозе. Она — поправляя платок, я — засунув руки в карманы пальто. Потом Анна вдруг шагнула ко мне и быстро обняла — так, как обнимают родных: коротко, но крепко.

— Спасибо, что пришел, — сказала она тихо, почти в плечо.

— Беги уже, — улыбнулся я. — А то опоздаешь.

Она отпустила меня, кивнула — и зашагала по улице быстрым, решительным шагом. Я смотрел ей вслед, пока серая фигурка не скрылась за углом, и почувствовал странную смесь гордости и тревоги. Гордости — потому что Анна действительно становилась взрослой. Тревоги — потому что взрослая жизнь редко бывает простой.

Постояв, я прикинул, чем могу тогда занять свой день. И вспомнил, что сегодня уже двадцать первое число. Рождество на носу, а у меня — ни одного подарка. Я развернулся и приказал Тихону править в сторону рынка, на ходу перебирая в уме список тех, кого нужно одарить. Итак: Настя — это первое и главное. Что-то теплое, женское, особенное. Анна — пусть даже живет отдельно, она не чужой мне человек. Александра с Софьей — раз уж теперь живут с нами, нельзя обойти и их.

Дальше — больше. Достоевский Федор Михайлович, с которым мы свели знакомство, и который выручил меня в истории с Милашиным. Венявский — скрипач, готовящий мою музыку для театра. Даже Тихону, нашему бессменному слуге и помощнику, хотелось взять какую-то мелочь — человек верный, заслуживает.

И наконец, Краббе и Великая княгиня. Тут уж не подарки — скорее, знаки признательности. Николай Карлович столько для нас сделал, что никаким подарком не отплатишь, но не отметить его вниманием было бы свинством. А Елене Павловне — что-то скромное, но со вкусом. Женщина она умная, оценит не цену, а уместность жеста.

С такими мыслями я добрался до Апраксина двора. Здесь, на рынке, жизнь кипела даже в декабрьскую стужу. Ряды ломились от товара: мясные туши висели на крюках, рыбные лотки блестели ледяной чешуей, а в дальнем конце, за обжорным рядом, начинались ряды рукодельные — платки, кружева, гребни, духи. Там же торговали игрушками — тряпичными куклами и деревянными лошадками, которые как раз подошли бы для Софьи.

Я прошелся сперва по рядам, прицениваясь. Для Насти приглядел шаль — оренбургскую, тонкой работы, серую, с серебристым отливом. Пушистая, легкая, в кольцо проходит — а греет за троих. Торговка, дородная баба в трех платках, запросила сперва втридорога, но видя, что я не спешу доставать кошелек, сбавила цену вдвое.

— Берите, барин, — гудела она. — Такой шали в Петербурге больше ни у кого нет. Невесте своей повезете — век благодарить будет.

Я усмехнулся. Надо же, угадала. Взял шаль, попросил завернуть в бумагу и двинулся дальше. Помнится, я похожий подарок для мамы делал.

Для Анны — небольшие серебряные сережки с бирюзой. Камень скромный, но подойдет под цвет ее глаз. Ювелир, старый еврей с лупой на цепочке, долго перебирал лоток, пока не нашел именно то, что я описал. Сережки легкие, неброские — Анна как раз такие любит, без лишнего блеска.

Для Александры — набор лент в галантерейной лавке: бархатные, атласные, разных цветов. Женщина она молодая, а живет скромно — пусть порадует. В ту же лавку вернулся за маленькой куклой для Софьи: тряпичной, с вышитым лицом, похожей на ту, что у нее уже была. Пусть будет вторая — девочке в радость.

Потом пошел по книжным лавкам. Для Достоевского выбрал редкое издание Гофмана — надеюсь, Федор Михайлович его оценит. Для Венявского — нотную тетрадь в хорошем переплете, с чистыми страницами: пусть пишет. А Тихону — кожаный кошелек, простой и добротный. Глядишь, не будет он у него пустовать.

Оставались Краббе и Елена Павловна. Тут пришлось подумать крепче.

Николаю Карловичу, моряку до мозга костей, я взял подзорную трубу — медную, с гравировкой, в футляре красного дерева. Вещь не дешевая, но я пока мог себе это позволить — деньги по отчислениям за патенты еще остались, а в будущем месяце должно быть новое поступление. Великой княгине я взял небольшую бронзовую чернильницу в виде лебедя. Уже знаю, что Елена Павловна много пишет — письма, заметки, распоряжения — и хороший пись-

менный прибор ей не мешает. Даже если у нее таких тьма, может поставить в какой-нибудь комнате, которых во дворце полно.

С покупками я управился к полудню. Вместе с Тихоном, навьюченным свертками, выбрался с рынка, и велел парню ехать домой — в нашу квартиру в доходном доме, где теперь жили уже четверо: я, Настя, Александра и маленькая Софья.

С Анной, кажется, все будет хорошо. Девушка она упрямая и толковая — если не эта школа, найдется другая. Настя дома под присмотром Александры — тоже не скучает. А я везу домой целый ворох подарков, и от этого почему-то становилось по-настоящему тепло, несмотря на декабрьский мороз.

Едва я переступил порог, как из кухни вылетела Настя. Раскрасневшаяся, с мучным пятном на щеке и глазами — встревоженными, широко распахнутыми.

— Роман! Слава богу!

Я поставил свертки на стул, снял пальто.

— Что-то стряслось? Или хочешь похвастаться своими кулинарными успехами? — усмехнулся я и аккуратно стер пятно на ее щеке, от чего Настя смутилась.

— Да при чем тут готовка?! — она схватила меня за руку и потащила в зал. — Как там Анна? У нее все хорошо? Как вы на фабрику сходили?

Девушка очень переживала за сестру, а сейчас это все выплеснулось на меня. Пришлось обстоятельно все рассказать, но успокоило Настю это не особо. Однако иных вестей у меня для нее не было, а вот у нее для меня имелись.

— Тут вестовой приходил. От Рубинштейна. Представляешь?

Я удивился.

— Антон Григорьевич? И что же он хочет?

— Не знаю, я не стала вскрывать твою почту. Вот, можешь сам прочесть, — протянула она мне конверт, который до того лежал на столе, и пристроилась рядом.

Ей и самой было любопытно, что мне пишут. Прогонять Настю я не стал, вскрыв послание.

— Ну надо же, — покрутил я головой. — Уже завтра меня ждут в Мраморном дворце. Выступление перед Его Величеством. Зал и труппу господин Рубинштейн подготовил, а мне надлежит прибыть за два часа до начала — для генеральной репетиции.

Настя застыла, пораженная прозвучавшим именем. Выступление перед Его Величеством! О таком многие лишь мечтают, а тут ее жениху предоставлялась такая честь!

Я и сам с минуту стоял молча, переваривая. Завтра. С одной стороны — хорошо: долгожданное выступление, наконец-то свершится. С другой — маловато времени на подготовку. Но Антон свое дело знает, и если пишет, что труппа готова, значит, так и есть. Надеюсь, его разногласия с Мусоргским не повлияют на качество его работы. Не станет же он делать все спустя рукава, чтобы выставить меня в дурном свете перед императором? С него ведь тоже спрос будет, как с организатора.

Я поднял глаза на Настю. Она все еще смотрела на меня с изумлением на лице, но увидев мою реакцию, ее волнение словно бы поутихло и сменилось чем-то другим — удивлением уже не от письма, а от моего поведения.

— Ты так спокоен, — проговорила она тихо. — Тебя совсем не тревожит это выступление? Что так скоро, что не готов...

— О нем меня предупреждала Елена Павловна, — признался я Насте. — Но просила никому не говорить. Так что я справлюсь. Если Антон Григорьевич пишет, что все готово, то так оно и есть. С репетиции и начнем. За два часа многое можно успеть, сама ведь помнишь мои прошлые выступления.

Но она все еще мялась, переступая с ноги на ногу. Платок в пальцах крутила — верный знак, что ее гложет что-то еще.

— Анастасия?

— Аня, — выдохнула она. — Как думаешь, у нее... получится? Самой? Без... без нас устроиться и... жить, — выдохнула она.

Я помедлил. В коридор из спальни выглянула маленькая Софья — видимо, услышала наши голоса. За ее спиной стояла Александра, держа дочку за плечо. Я поймал ее взгляд и коротко кивнул: мол, все хорошо, просто разговор. Александра понимающе улыбнулась и увела девочку обратно.

Тогда я отвел Настю в угол зала, подальше от любопытных ушей.

— Она решила идти сама, — вполголоса напомнил я то, что говорил пару минут назад. — Я предлагал поехать с ней, но она отказалась. И знаешь, с таким настроением люди добиваются многого. И без поддержки. Потому я думаю, что у нее может получиться. Однако если она не справится, то мы всегда подставим ей плечо, на которое она сможет опереться. Уверен, и она про нас не забудет.

Настя выдохнула. Долго, облегченно — так, словно полдня ждала именно эти слова.

— К тому же она обещала рассказать, как все пройдет, — добавил я. — Если не получится — придумаем что-то еще. Не переживай, связь с ней мы не потеряем.

Настя кивнула. И улыбнулась — впервые за наш разговор — и в этой улыбке было столько теплоты, что я невольно улыбнулся в ответ.

— Спасибо тебе, — сказала она. — За нее. И за то, что не бросил.

— С чего бы мне ее бросать, — удивился я в ответ. — Она и мне давно уже не чужая.

Мы помолчали. Из кухни тянуло яблочным духом, в спальне затихли голоса — видимо, Софью снова уложили. Потом Настя подняла голову и посмотрела на свертки, которые я сгрузил на стул у двери.

— А это что? — она кивнула на бумажные пакеты, перетянутые бечевкой.

— Ах да, — я усмехнулся. — Я ж не говорил, чем занимался все это время. Так вот: ездил за подарками.

— За подарками? — она подошла ближе. — И много купил?

— На всех. На тебя, на Аню, на Александру с Софьей, Тихону, Достоевскому, Венявскому... Даже Краббе и Великой княгине.

— Ох, Роман... — Настя всплеснула руками. — И ты все это сам?

— Сам-сам. Но есть одна загвоздка, — я взял ее за руку, развернул к себе. — Подарки куплены, но они не упакованы. И дом к Рождеству не украшен. А завтра у меня, как выяснилось, выступление. Да и других дел полно, которые завершить стоит. Справитесь без меня? — сказал я это не без умысла — хотелось отвлечь Настю от дурных мыслей.

Глаза у девушки загорелись, как я и рассчитывал. Она выпрямилась, даже как будто подросла на полвершка.

— Конечно, справимся! Александра поможет, да и Софью можно занять — пусть снежинки из бумаги вырезает. Украсим залу, поставим елку. А подарки я сама упакую. Мне бы только бумаги красивой и лент.

— С этим помогу, — сказал я. — Схожу в лавку. Бумагу, ленты, может, еще мишуры какой прихвачу. Или Тихона отправим, он все прикупит.

Настя кивнула. От ее недавней тревоги не осталось и следа — теперь она думала о празднике, о том, как устроить уют, и это занятие явно было ей по душе.

Я оставил девушек обсуждать украшения — уже слышал, как Александра предлагает развесить еловые ветки над окнами, а Настя спорит, что гирлянды будут смотреться лучше. Сам остался в зале.

У окна, стоял мой рабочий стол. Вчера, перед сном, я долго не мог уснуть. Мысли крутились вокруг Анны, Александры, этой странной встречи — и чтобы успокоить голову, я тогда сел к столу, зажег лампу и взялся за кисть.

Надо было закончить портрет для Генрика. Вчера я его почти доделал. Краски легли хорошо — глубокий темный фон, лицо скрипача вполоборота, смычок в руке. Пальцы правой руки — длинные, нервные, настоящие пальцы музыканта — получились сразу. А вот левая рука, лежащая на грифе, мне не давалась. Я переписывал ее трижды. То пропорции уходили, то свет ложился не так, то напряженность в кисти пропадала, и Венявский получался расслабленным — а он никогда не был расслаблен, когда играл. Все же писать по памяти сложнее, чем с натуры.

Но вчера — уже глубокой ночью, под тихое тиканье часов — я нашел верный тон. Рука легла так, как надо: цепкая, точная, с чуть изогнутым мизинцем. Остались последние мазки: чуть углубить тени у локтя, добавить блик на лакированное дерево скрипки, пройти по воротнику белилами, чтобы выделить линию шеи.

Я уселся к мольберту. Свет из окна падал холодный, декабрьский — но для последних мазков его хватало. Обмакнул кисть, провел по воротнику — раз, другой. Тронул скрипку: здесь нужен был отблеск, легкий, полупрозрачный, как будто свет от свечи скользит по лаку. Сделал. Отстранился.

Портрет смотрел на меня глазами Генрика Венявского — живыми, чуть ироничными, с тем самым блеском, который появлялся у него, когда он брал в руки скрипку. На доводку портрета не ушло много времени.

Вскоре я уже достал чистую тряпицу и вытер кисти. Потом бережно снял холст с мольберта и отставил к стене — сохнуть. Сегодня же вечером или завтра с утра, до репетиции, можно будет отнести Генрику. Заодно вручу и подарок — нотную тетрадь в добротном переплете.

Я выпрямился, размял затекшие плечи. Из коридора доносился смех Насти и низкий, грудной голос Александры. Кажется, они уже нашли общий язык по поводу украшений, и теперь спорили не о гирляндах, а о том, куда вешать еловые ветки — над камином или вокруг зеркала. Софья что-то лепетала, путаясь у них под ногами — видать, не смогли уложить на дневной сон, и топот маленьких пяток снова рассыпался по всей квартире.

Я усмехнулся и пошел одеваться. Бумага, ленты, мишура. А потом — завтрашний день, Мраморный дворец, генеральная репетиция и государь.

Ничего. Прорвемся.

Глава 4

22 декабря 1859 года

Петербург. Доходный дом, где живет Роман

Вечер вчера прошел весело. Все-таки дети как никто другой способны наполнить дом той особой атмосферой радости и беззаботности, которая дарит тепло и вызывает улыбку. Я стал думать, что нам даже повезло, что у компаньонки Насти оказалась дочь на руках.

А утром нам принесли записку. Я еще сидел над чаем, глядя, как за окном падает редкий, словно просеянный сквозь сито снег, когда в дверь постучал вестовой — совсем мальчишка в заячем треухе, продрогший до костей. Настя, накинув шаль, приняла конверт и передала мне, подумав, что это весточка от Рубенштейна. Я и сам, признаться, сперва также решил. Но распечатав конверт и пробежав глазами по неровным, торопливым строчкам, понял, что ошибся:

«Роман! Анастасия! Меня взяли! Пока только сортировать камни буду, да учиться росписи и эмалированию, к серьезной работе не допускают, но мастер сказал — глаз у меня цепкий, а рука твердая. Если покажу себя, то смогу и выше подняться. Как же я счастлива! Ваша Анна».

Настя заглянула мне через плечо и охнула. Я слышал, как перехватило у нее дыхание — частое, сбивчивое, радостное. Она прижала ладонь ко рту, но улыбка все равно проступила, расширила глаза.

— Получилось, — выдохнула она. — Роман, у нее получилось! Господи, какое облегчение...

Я отложил записку и привлек ее к себе — так, на мгновение, без слов. Чувствовал, как бьется у нее сердце: быстро, горячо. Из спальни выглянула было Александра, оценила сцену и бесшумно скрылась обратно — понимала, что сейчас лучше не мешать.

— Надо ей ответить, — сказал я, отпуская невесту. — Сразу, пока вестовой не ушел. И на Рождество позвать — пусть знает, что у нее есть куда прийти.

— Да, да, конечно, — закивала Настя. — Я сейчас напишу, ты только бумагу подай.

Через десять минут ответное послание — теплое, с приглашением на праздник и искренними, без нарочитости, поздравлениями — было вручено тому же мальчишке. Я сунул ему в ладонь четвертак, велел передать барышне Скородубовой и смотрел, как он улепetyвает по заснеженной улице, придерживая шапку.

Настя еще долго стояла у окна, улыбаясь каким-то своим мыслям. Я не тревожил ее — пусть.

К обеду, однако, радость уступила место иному чувству. Я поймал себя на том, что без нужды перекалываю на столе листы бумаги — поправляю и без того ровную стопку, одергиваю край скатерти. Руки требовали дела, а мысли разбегались. Мраморный дворец. Сегодня. Через несколько часов я буду стоять перед людьми, одно слово которых может открыть или захлопнуть передо мною двери, и среди них — сам император.

Я старался не показывать волнения, но, кажется, Настя все равно что-то чувствовала. За обедом она пару раз бросала на меня быстрый взгляд — такой, каким смотрят на близкого человека, когда знают, что он недоговаривает. Однако вслух ничего не сказала, только подлила чаю и подвинула ко мне вазочку с сушками.

— Ты поешь, — сказала она. — Перед выступлением силы нужны.

Я кивнул, проглотил еще пару ложек супа и поднялся из-за стола.

Сборы были недолгими. Костюм я надел без спешки, но пальцы, застегивавшие пуговицы, все равно были чуть холоднее обычного. В зеркале отразился молодой человек с прямой

спиной и плотно сжатыми губами — не то чтобы испуганный, но и не беспечный. Я усмехнулся своему отражению: «Ничего, Роман Сергеевич, не впервой».

Настя вышла проводить меня в прихожую. Поправила воротник, одернула на спине чуть заметную складку, провела ладонью по плечам.

— Ты справишься, — сказала она тихо и убежденно.

Я поцеловал ее в лоб, чувствуя, как пахнут ее волосы — яблочным теплом из кухни, и вышел на морозный воздух.

Карета ждала. Тихон на козлах, закутанный в тулуп, обернулся на мой шаг и коротко кивнул: готов, мол, барин. Я забрался внутрь, откинулся на сиденье и прикрыл глаза.

Мраморный дворец встретил меня суетой. Слуги сновали без остановки, где-то в глубине здания передвигали мебель — глухие удары отдавались в высоких сводах. У парадного входа меня уже ждал Рубинштейн — собранный, подтянутый, в черном фраке с иголки.

— Роман Сергеевич, — он кивнул и без лишних слов развернулся, увлекая меня за собой по коридору. — Труппа в зале, я вас провожу.

Мы прошли анфиладу комнат, и я услышал музыку — вернее, ее разрозненные фрагменты: гитаристы пробовали аккорды, барабанщик выбивал дробь, кто-то гудел на контрабасе, пробуя нижние ноты. Рубинштейн распахнул дверь, и я вошел в небольшой, но хорошо освещенный зал, где уже собрались музыканты.

Первым, кого я увидел, был старик Завадский. Он сидел на стуле у стены, положив руки на колени, и смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Очевидно, Ульян Игоревич до сих пор пытался переварить мысль, что скоро лично увидит императора, а тот будет смотреть на него и оценивать. Я подошел, поздоровался, вырывая его из тяжких дум.

Завадский поднял глаза, узнал меня и улыбнулся одними уголками губ.

— А, Роман Сергеевич. Давно мы не виделись. Волнуетесь?

— Есть немного, — признался я. — Но как погляжу, и вы не хладнокровны.

Завадский сдавленно хохотнул, не став отрицать очевидное.

— Столько лет службы, а к Его Величеству буду представлен совсем не как офицер, — покачал он головой то ли с грустью, то ли с немым изумлением.

Я огляделся. Чуть поодаль гитаристы, Иван и Андрей, о чем-то негромко переговаривались, перебирая струны. В углу варганщик, имени которого я так и не запомнил, извлекал из своего инструмента странный, вибрирующий звук — словно далекий колокол гудел под водой. И наконец, контрабасисты — Тишков и Бродников, стояли у своих инструментов, похожих на огромные темные груши. Надо же, не ушел из труппы Григорий Лукьянович. Или как-то узнал о выступлении перед императором и сумел убедить Венявского взять его в основной состав?

Я обошел всех, с каждым поздоровался за руку. Тишков поприветствовал меня скупой, но не из-за прежней неприязни, а больше из-за волнения. Он не смог этого скрыть даже несмотря на годы практики выступлений. Это и понятно — где провинциальные подмостки, а где — Император! Тут — Фигура! От того, как мы выступим, зависит наше будущее — без всяких шуток или преувеличений.

— Рады, Григорий Лукьянович? — не удержался я от вопроса. — Не жалеете, что столько ждали меня тогда, в Царицыне?

— Это было оправдано, — сдержанно признал он, хоть и поморщился слегка.

Вячеслав Савельевич тоже был немногословен. Коротко кивнул мне и вернулся к своему контрабасу.

Через минуту к нам подошел Венявский. Генрик, на которого я оставил труппу, видно лично решил посмотреть на ее работу. А может, был просто как зритель — все-таки должность солиста при императорском дворе позволяла ему входить во многие места без лишних препон.

Вот только в руках его была неизменная скрипка, что меня удивило.

— Роман Сергеевич, — поздоровался он со мной с легкой улыбкой.

Вот уж кто был абсолютно спокоен и не выдавал своего волнения, даже если оно присутствовало.

— Генрик Иосифович, — поздоровался я в тон и пожал его руку, ощутив знакомую сухую крепость пальцев. — Не ожидал вас здесь увидеть.

— А зря. Вы ведь доверили мне свою труппу. Как я мог их оставить одних? — он подмигнул. — Кроме того Рубинштейн попросил меня вписать скрипичную партию в обе ваши песни. Времени, правда, было в обрез, но я кое-что набросал.

Я замер. Скрипка. Венявский — бесспорно, гениальный скрипач, но скрипка в «Петропавловске»? Там, где весь нерв строится на жестком ритме, на сухой поступи? Неужто это попытка меня подставить со стороны Антона Григорьевича? Или дело в ином? Что если он искренне считает, будто моя песня абсолютно не понравится Его Величеству и хочет хоть так «подстелить соломки»? Или наоборот — прекрасно понимает, что я вычеркну скрипку из исполнения и, если песня не придется ко двору, то сможет со спокойной душой заявить, что пытался сделать ее лучше, но причуда молодого провинциала... Вот черт! Однако и оставлять скрипку в песне нельзя.

Все эти мысли пронеслись в голове за секунду. Я успел подавить первое побуждение — возразить сразу, при всех — и произнес как можно ровнее:

— Благодарю. Я тронут, что вы решили участвовать. К слову, ваш портрет готов. Я, правда, не взял его с собой — никак не думал вас сегодня встретить, но если будет возможность, заберите позже, он уже просох.

Венявский расплылся в улыбке:

— Польщен. Непременно загляну на днях.

Рубинштейн, наблюдавший за нами со стороны, хлопнул в ладоши:

— Господа, репетиция!

Труппа зашевелилась быстрее. Инструменты были настроены в минуту — было видно, что без меня они без дела не сидели и прекрасно сыгрались. Я встал в центре, лицом к воображаемой публике, и кивнул варганщику: начинаем с первой. Тот затянул ноту на своей необычном инструменте, затем вступили гитары, и зал наполнился тяжелым, размеренным звуком «Петропавловска».

А вскоре включилась и скрипка. Венявский вплепел свою партию с первых же тактов, красиво, безупречно, но — я почувствовал это мгновенно — она скругляла острые углы. Мелодия, которая задумывалась как бой на грани жизни, грохот пушек и лязг стали, стала мягче, плавнее, словно обернулась бархатом. Если у меня и были раньше сомнения — может я что-то не учел и в новой обработке песня действительно станет лучше, то сейчас они рассеялись. Я допел первый куплет и остановил репетицию.

Когда я поднял руку, в зале повисла тишина. Венявский опустил скрипку и посмотрел на меня внимательно.

— Генрик, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и без тени обиды, — вы играете бесподобно. Но эта песня... она требует жесткости. Скрипка делает ее слишком певучей. Боюсь, для этих двух композиций нам лучше обойтись без нее.

Я ожидал чего угодно — обиды, возражения, холодности. Но Венявский только кивнул и убрал смычок в футляр.

— Я понимаю, — сказал он спокойно. — Сам слышал, как меняется звук. Честно говоря, я говорил о том же Антону Григорьевичу, но он настаивал.

Я перевел взгляд на Рубинштейна. Тот стоял, заложив руки за спину, и смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Угадать, рад ли он моей реакции, ожидал ли ее, и вообще — что чувствует сейчас, было невозможно.

— Антон Григорьевич, — начал я, — я ценю стремление украсить звучание, но...

Он не дал мне договорить:

— Вам решать, Роман Сергеевич. Вы автор. Я свое предложение сделал, теперь дело за вами.

И все. Ни спора, ни нажима. Я даже немного растерялся — настолько легко все разрешилось. Неужели мои предположения верны, и он таким образом подстраховывается на будущее? Ладно, пока мне не до Рубенштейна. Надо все же провести репетицию, но в изначальном варианте песни. Венявский, впрочем, никуда не ушел: остался стоять у стены, скрестив руки и с интересом наблюдая за дальнейшей работой.

— Есть еще одно дополнение, — вдруг подал голос Антон Григорьевич, когда я уже собирался вернуться к репетиции. — Офицерский хор. Я взял на себя смелость пригласить их для «Гангута». В нужных местах они подхватят припев.

Я задумался на секунду — и кивнул. Это я и сам думал сделать, но все руки не доходили. Даже хорошо, что Рубинштейн взял это «улучшение» на себя. Хор позволит усилить эффект, придать песне объем в нужных местах. Пусть остаются.

Следующий час пролетел как один миг. Мы прогнали обе песни — сперва по частям, потом целиком, добиваясь единого дыхания. Завадский попадал в такт безупречно, гитары сплетались и расходились, контрабасы держали низ, и я чувствовал, как с каждым прогоном волнение уходит, уступая место сухой собранности. Тело вспомнило, что такое сцена. Голос слушался.

Потом в дверях возник дворецкий. Сухой, прямой, в расшитой золотом ливрее, он выждал паузу между песнями и объявил:

— Через четверть часа ожидается прибытие гостей.

Сердце у меня пропустило удар. Я вытер ладони о брюки — незаметно, как мне казалось — и оглядел зал. Пока мы репетировали, слуги уже расставили стулья. Теперь они стояли ровными рядами, обитые темно-красным бархатом, и от этой чинной, парадной пустоты становилось немного не по себе.

Музыканты переглянулись. Ульян Игоревич поправил металлические тарелки и замер. Тишков хрустнул пальцами, разминая руки. Бродников поднялся со своего стула и одернул сюртук.

Первые гости начали собираться почти сразу. Я стоял у края сцены и наблюдал, как зал постепенно заполняется. Военные мундиры — морские и гвардейские, белые и темно-синие, с золотым шитьем. Статские — в черных фраках, при орденах. Несколько сановников я узнал: вон тот, с бакенбардами, кажется, из морского министерства; этот, с лысиной и острым носом — кто-то из Сената. Все — люди государственного круга. Все — те, кто постоянно находится при императоре по малейшему поводу и без.

Венявский подошел ко мне и встал рядом, тоже глядя в зал.

— Не смотри на них, — сказал он негромко. — Смотри на меня. Или на контрабас Григория Лукьяновича — он достаточно велик, чтобы заслонить первого министра.

Я усмехнулся. Шутка была нехитрой, но помогла — отпустило. Я расправил плечи и повернулся к своей труппе.

— Ну что, господа, — сказал я. — С богом.

Где-то в глубине дворца, далеко, но уже различимо, зазвучали шаги. Множество шагов, сливающихся в один гул. Император приближался.

Мраморный дворец

Император Александр II прибыл в вотчину своего младшего брата в третьем часу пополудни. Морозный воздух еще держался в складках его шинели, когда он, сбросив ее на руки адъютанту, прошел в вестибюль, где его уже встречал сам хозяин дворца.

Константин Николаевич, великий князь, генерал-адмирал и морской министр, ждал его у подножия белой мраморной лестницы. Он был в морском мундире, при орденах, и держался

с той особенной, чуть насмешливой почтительностью, какую позволял себе только младший брат.

— Государь, — Константин склонил голову ровно настолько, насколько требовал этикет, но глаза его блестели живым, нетерпеливым огнем. — Рад, что вы нашли время.

— Ты так настойчиво приглашал, Константин, что я заподозрил неладное, — Александр усмехнулся одними уголками губ. — Что за самородка ты, говоришь, откопал?



— Будет справедливо упомянуть, что откопал его не я, а Николай Карлович. Но я успел оценить его талант. Вскоре все увидишь сам. Вернее, услышишь, — Константин развернулся и повел брата через анфиладу залов. Звук их шагов — мягкий, приглушенный коврами дорожками — разносился под высокими сводами. — Молодой человек, дворянин из провинции. Сочинил несколько песен, две из которых, смею думать, заставят наших моряков выпрямить спины.

Александр ничего не ответил. Он шел чуть позади брата, заложив руки за спину, и мысли его текли по привычному, давно проторенному руслу забот.

Крестьянский вопрос. Два слова, за которыми стояла судьба империи. Проект реформы, который уже неоднократно подвергался правкам. Особенно недовольны первым вариантом были помещики, под чьим давлением и пришлось отдать проект на доработку редакционной

комиссии. Освободить крестьян значило перекроить всю земельную, хозяйственную, судебную систему — и перекроить так, чтобы не обрушить страну в хаос. Помещики роптали, чиновники саботировали, а он, император, должен был найти тот единственный путь, который примирит свободу с порядком.

И при всем при этом — международная изоляция. Крымская война, проигранная — горько, хоть и не позорно — оставила Россию без главного ее южного флота. Парижский трактат, подписанный четыре года назад, вычеркнул Черноморский флот из числа военных сил Европы: России запрещалось иметь на Черном море военные суда, арсеналы и верфи. Державы, еще вчера бывшие союзниками, теперь смотрели на нее с плохо скрытым торжеством.

Александр помнил лица моряков, когда в Севастополе читали условия мира. Помнил глухое молчание в строю — хуже любых проклятий. С тех пор боевой дух флота, да и всей армии, держался не на победах, а на одном лишь чувстве долга. И долг этот требовал подкрепления — словом, музыкой, примером. Всем, что могло бы сказать: мы не сломлены.

Потому он и ехал сегодня к брату. Константин, при всем своем вольнодумстве, редко ошибался в людях. Если он говорил, что нашел нечто стоящее — стоило послушать.

В боковой галерее, куда они свернули, произошло встреча, которую Александр не ждал. Великая княгиня Елена Павловна стояла у окна, за которым кружилась редкая снежная крошка, и при появлении братьев обернулась. Туалет ее — пышное платье темно-вишневого бархата, отороченное мехом — больше подошел бы для бала, чем для послеобеденного концерта; в уложенных короной волосах мерцали жемчужные заколки.

— Ваше Величество, — она чуть склонила голову, и в этом легком движении не было и тени подобострастия. — Вы ведь позволите старухе составить вам компанию?

Александр подошел, взял ее руку — тонкую, прохладную, унизанную перстнями — и приложил губами.

— Неужели вас так заинтриговало юное дарование, тетушка?

— Более чем. Я уже имела случай слышать его творения в своем салоне, и осталась весьма довольна, — Елена Павловна огладила бархат на рукаве и чуть сощурилась, глядя на императора. — Но здесь я, признаться, с корыстью: если вам понравится Роман Сергеевич, я бы очень хотела свести вас с ним после концерта. Он, видите ли, работает сейчас по моему поручению над новой редакцией известных вам положений. В рамках одной губернии.

Константин, стоявший в стороне, чуть приподнял бровь. Император задержал шаг ровно на секунду. Заниматься крестьянским вопросом — и сочинять патриотические песни? Да еще в юном возрасте? Сопряжение казалось странным.

— Вы умеете заинтриговать, Елена Павловна. Что ж, — он повернулся к брату и взглядом указал на дверь зала, — сперва музыка. О делах — после.

Она кивнула с тем спокойным достоинством, которое всегда означало: разговор непременно состоится, и пропустить его не выйдет.

Дворецкий распахнул перед ними высокие двустворчатые двери, и Александр вошел в зал.

Тот был невелик, но убран с тем строгим вкусом, какой император хорошо знал за своим братом. Никакой лишней позолоты. Красный бархат на стульях, расставленных полукругом перед небольшой сценой. Хрустальная люстра под потолком давала ровный, теплый свет. Вдоль стен, переговариваясь вполголоса, уже собрались приглашенные — морские офицеры в темно-синих мундирах, гвардейцы с аксельбантами, несколько статских сановников, чьи лица Александр знал наперечет. Увидев императора, они разом умолкли и поклонились.

На сцене, у инструментов, стояли музыканты. Александр скользнул по ним быстрым, цепким взглядом. Пожилой человек у барабанов — вероятно, распорядитель или старейшина труппы. Рядом — мужик, чье крестьянское прошлое не смог скрыть костюм, держал что-то в руках, и переминался с ноги на ногу. Дальше — гитаристы, контрабасисты, в стороне стоит уже

знакомый императору Генрик Венявский. Но скрипач встал так, словно не будет выступать. И рядом с ним — молодой человек, совсем юный, с прямыми плечами и странным, нездешним выражением лица: ни страха, ни подобострастия, одно только ожидание.

«Видать, тот самый самородок», — догадался Александр.

Очень пестрая труппа получилась. Такого состава мужчина не видел ни у кого и никогда. Разве что уличные скоморохи могли чем-то подобным удивить публику, но они давно уже не выступали в стенах дворцов. Только в частных салонах по особому приглашению.

Император прошел к своему креслу — в первом ряду, чуть левее центра, — и сел. Константин занял место справа, Елена Павловна — слева. Остальные гости, дождавшись, пока государь устроится, тоже начали рассаживаться. Шелест одежды, скрип стульев, короткий, приглушенный кашель — и тишина, полная ожидания.

Александр опустил ладони на подлокотники и приготовился слушать.

Глава 5

22 декабря 1859 года

Петербург. Мраморный дворец

Зал замер. Последние капли тишины впитались в красный бархат кресел, и в наступившей, почти осязаемой пустоте Александр Второй явственно услышал, как за высокими окнами шуршит поземка. Он сидел прямо, положив ладони на подлокотники, и смотрел на сцену, где юный Роман Винокуров — мальчишка, в сущности — чуть заметно кивнул странному мужику, державшему во рту непонятную побрякушку.

Тот загудел. Звук поплыл — низкий, вибрирующий, как струна под водой — и почти сразу его смяло, раздавило вступление гитар и барабана. Тяжелое, размеренное, оно обрушилось на зал с силой отдачи корабельного орудия. Император моргнул, и на мгновение ему почудилось, что он не в Мраморном дворце, а на палубе, где ветер рвет вымпелы и пахнет пороховой гарью.

Юноша запел.

Никогда прежде император не слышал такого исполнения. Здесь не было придворной сладкозвучности, не было оперной поставленности голоса, годного лишь на то, чтобы оглашать театральные своды. Нет, этот парень пел так, словно вколачивал слова в стену. Он выкрикивал строчки, он рвал голос, он наступал на зал, и барабаны били в такт его ярости — «Петропавловск» вставал из звуков, как крепость из тумана: грохот пушек, свист ядер, рев моря, рвущегося в пробоины.

Александр чуть подался вперед.

С одной стороны, это было поразительно. Песня была сложена до жути просто — без вычурности, без артиллерийских терминов, доступная любому матросу и любому мужику в поле. Она ввинчивалась в память с одного прослушивания: еще немного, и ее начнут орать в портовых кабаках, на бастионах, на привалах. Именно то, что нужно флоту сейчас — без Черноморских побед, без громких реляций — гимн, склеенный из стойкости и памяти.

Но с другой стороны — он, человек, привыкший к картографической точности, к аккуратности депеш и формуляров, невольно поморщился. «Петропавловск». Просто «Петропавловск». А ведь поется про Петропавловский порт, а не город, расположенный в Западной Сибири* — что две существенные разницы, две разных точки на карте, и для моряка, к примеру, разница эта была не лингвистической прихотью, а вопросом навигации. И таких мелких, небрежных упрощений хватало — он слышал их, отмечал краем сознания, но заставлял себя не выдергивать из ткани песни каждую нитку. Творчество. Мальчишка, в конце концов, пусть и дворянин — он пишет не трактат, а песню. Нужно быть снисходительным. Он не министр, которому нельзя спустить ошибку в докладе — он поэт, пусть и нового, невиданного склада.

* сейчас это территория Казахстана, а тогда Петропавловск ассоциировался именно с Западной Сибирью

Песня завершилась так же резко, как началась. Последний удар барабана — гулкий, как выстрел — упал в тишину, и та сомкнулась над ним, плотная, звенящая. Тишина длилась секунду, другую, и в ней слышалось только сбитое дыхание певца.

Александр чувствовал, как со всех сторон на него уставились взгляды — гости, офицеры, сановники, даже Константин, его собственный брат, замер вполоборота и не дышал, хотя в его взгляде читалось — песня ему нравится. Все ждали. Ждали его реакции. Ждали слова. Ждали движения. И это ожидание, это скопление глаз ударило в него глухой, мгновенной досадой.

Что за манера — ждать императорской отмашки, будто сами не имеют ушей? Будто каждое его движение — дирижерский взмах, без которого ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Он подавил раздражение. Лицо его не дрогнуло. Медленно, веско оторвал ладони от подлокотников и свел их вместе — хлоп, хлоп, хлоп. Звук вышел нарочито ровным, не громким и не тихим. Вежливым.

— Это все, — спросил он, не повышая голоса, но так, что каждый слог донесся до сцены, — или будет еще?

Юноша стоял, чуть прикрыв глаза — собирался с духом после исполнения — и при этих словах вскинул голову. На миг императору показалось, что увидит в его лице обиду или растерянность, но нет — юноша коротко кивнул.

— Будет, Ваше Императорское Величество.

Музыканты переглянулись. Пожилой барабанщик вытер ладони о брюки. Контрабасисты перехватили инструменты. И снова — пауза, свист вдоха, и теперь уже гитары загрохотали иначе: резче, злее, с металлическим лязгом. Снова что-то отстоящее от привычных мелодий так далеко, что аналога подобрать невозможно. Зато очень созвучно с прошлой песней.

Когда грянул припев, император увидел, как по залу прошло движение. Не он один понял, что песня похожа на предыдущую. И увидев реакцию императора, вполне сдержанную, ранее, теперь слушатели решили не ждать его одобрения, а выразить собственные чувства. Сперва поднялся один морской офицер — немолодой, с георгиевской лентой в петлице — и встал, держась за спинку кресла, словно в строю. За ним — второй, третий. Моряки вставали один за другим, не сговариваясь, как поднимаются по сигналу тревоги. Лица их были тверды, глаза блестели не слезой, а тем сухим огнем, какой бывает только у тех, кто знает цену морскому делу.

Александр смотрел на них — и одобрял. Вот это было то, ради чего стоило прийти. Песня поднимала, песня сплывала, песня говорила каждому из этих закаленных моряков: «Ты — часть победы, и победа эта не забыта». Ему нравился этот эффект. Он видел, как выпрямляются спины, как оживают потухшие было лица. Если для этого нужен мальчишка-провинциал с его гроыхающим оркестром — пусть будет так.

Но сам он не встал.

Он слышал те же упрощения, что и в прошлой песне. Те же мелкие, для иного уха незаметные неточности, от которых хотелось поморщиться. Текст был слишком прост, слишком общ — хотелось выверить его по шканечным журналам, по датам и диспозициям, но Александр напомнил себе: он не редактор. Он — слушатель. И он слушал.

Последний припев подхватил офицерский хор — император не знал, чья это затея, но с хором композиция получилась цельной. Десятки голосов грянули разом, и звук, отразившись от мраморных стен, пошел гулять под сводами, как колокол. Контрабасы гудели нутряно, гитары звенели, барабан бил — и в этом грохоте, на самой вершине, юный Роман Винокуров вытянул последнюю ноту.

Тишина.

Но теперь она длилась лишь мгновение. И разорвали ее не музыканты и не певец, а зал — хлопки вспыхнули сразу, во многих местах, сперва разрозненные, потом слившиеся в общий, почтительный, но искренний грохот ладоней. От императора уже не ждали реакции — он показал свое расположение в самом начале. И моряки хлопали стоя — те, кто встал во время песни, так и не сели обратно. Статские поднялись следом, сановники зашевелили руками осторожнее, но тоже аплодировали. И никто уже не смотрел на императора — все смотрели на сцену.

Александр удовлетворенно кивнул: приговор вынесен. Не им — залом. Его собственная реакция больше не требовалась: этим людям песни пришлось по вкусу, и они не стали ждать монаршего кивка, чтобы это выразить. Вот чего-то подобного и ждал император, когда брат звал его послушать песню никому неизвестного провинциального юнца.

Он поднял ладони и тоже хлопнул. Теперь — громче, не для протокола, а просто отмечая: да, пусть не без огрех, но яркого противления в нем не было. И это, пожалуй, уже победа.

Я стоял на сцене и смотрел в зал. В ушах еще отдавался последний удар барабана — гулкий, как выстрел. Две песни. Всего две. А устал я так, словно марафон пробежал. Но все же это была та особенная, сухая усталость, какая приходит после дела, сделанного на совесть.

Зал аплодировал.

Моряки в первом ряду — я видел их лица — поднялись еще во время «Гангута». Песня о первой победе русского флота, о Петре, о Балтике — она легла на эту публику иначе, чем первая. Не просто победой в проигранной войне, мелким эпизодом, а торжеством, когда наш, русский флот, заявил о себе на весь мир. Пожилой офицер с георгиевской лентой стоял вытянувшись, и в его глазах читалось что-то такое, чего не подделать. Сановники хлопали сдержанно, но хлопали. И — что важно — они больше не оглядывались на императора. Реакция Его Величества после первой песни сняла этот вечный вопрос: можно ли? И теперь зал решал сам.

Его Величество тоже хлопал. Лицо спокойное, без восторга, но и без тени неудовольствия. Я перехватил его взгляд — короткий, оценивающий — и понял: он услышал. Не просто прослушал, а именно услышал смысл. Этого достаточно.

Я поклонился. Поблагодарил коротко, в три слова — сил на длинные речи не было. И отошел к стене, за портьеру, где слуги выставили графин с водой. Налил, выпил. Руки почти не дрожали — это радовало. Горло саднило, но терпимо. Я перевел дыхание, прикидывая, что делать дальше. Поздравят — хорошо. Отпустят — тоже неплохо.

Краем глаза я заметил движение. Император поднялся. За ним тут же, синхронно, начали вставать остальные — но никто не двинулся к выходу. Все ждали, что станет делать правитель дальше. Останется? И тогда можно будет подойти и обсудить только что услышанное. Покинет зал? Тогда задерживаться тоже не стоит — внимание императора никогда на всех не хватит, а утратить его интерес не хочет никто.

В итоге произошел третий вариант: Александра Второго перехватила Елена Павловна.

Я увидел ее только сейчас. А ведь сидела она, оказывается, по левую руку от императора! Но до этого момента я ее попросту не замечал — все внимание держал на музыке. Сейчас она стояла у кресла императора, говорила что-то — коротко, без жестов. Его Величество слушал, чуть наклонив голову. Они обменялись несколькими фразами — и вышли вместе. Двери закрылись бесшумно.

Зал выдохнул. И ожил по-настоящему. Никто не посмел идти вслед за ними — ведь место подле императора оказалось занято, да еще его родственницей. Потребовать их в такой момент — навлечь на себя неудовольствие сразу двух титулованных особ. И внимание публики переключилось на того, кто стал причиной их сбора.

Ко мне потянулись люди.

Первым подошел тот самый моряк с георгиевской лентой, вставший первым. Представился — фамилия вылетела из головы сразу, я уловил только, что он из балтийцев. Сказал, что «Гангут» — это то, что нужно. Что он помнит, как учили историю Петра, как называли первые победы русского флота — галеры, абордаж, шведы — и что я спел так, будто сам там был. Киваю, благодарю. Подходят еще двое: один из морского министерства, второй — статский, с лицом человека, привыкшего читать чужие бумаги. Говорят правильные слова. Я отвечаю правильными фразами — ровно столько, сколько нужно, чтобы не выглядеть невежливым. Но мои мысли уже не здесь.

У меня было предчувствие, что император вышел в компании великой княгини не просто так. И Елена Павловна перехватила его не для светской беседы. Она говорила с ним — о чем? Обо мне? О деле? Если так, то вызовут меня или нет — вопрос решенный. Вызовут. И готовиться нужно сейчас.

Я продолжал кивать, улыбаться, пожимать руки. Молодой гвардейский офицер с пышными усами восхищенно спрашивал что-то о том, где я учился музыке. Я ответил: сам, понемногу. Он закивал еще восторженнее. Я же краем глаза следил за дверью, в которую вышли император и великая княгиня.

И точно. Слуга возник бесшумно — материализовался у моего локтя, как и полагается дворцовому лакею.

— Господин Винокуров, вас ожидают.

Моряк осекся на полуслове. Остальные переглянулись. По лицам пробежало понимание — быстрое, как искра. Слуга прервал разговор по приказу, который не обсуждается. А такой в этих стенах может отдать лишь один человек — император.

Никто не возмутился. Все расступились.

Я кивнул гвардейцу, извинился короткой фразой и пошел за слугой.

Коридоры Мраморного дворца были длинные, и пока мы шли, я перебирал в уме то, о чем стоило бы сказать императору. И то, о чем говорить не стоило точно.

Первое, что пришло в голову — двигатель, над которым сейчас работает Костович. Чертежи у нас есть, скоро будет прототип. Такой двигатель создаст настоящую революцию в мире, уж я то знаю. Он будет использоваться повсеместно: в механике, в транспорте, в промышленности. Но я понимал и другое: проект еще сырой. Не сочтет ли Его Величество меня очередным прожектером? Получить такую репутацию в глазах императора не хотелось. А двигатель, поданный недоработанным, может вызвать не интерес, а раздражение. Нет, об этом пока стоит молчать. Молчать до тех пор, пока не доведу до ума. Или хотя бы до первого рабочего образца. Про самобеглую коляску или телефон в этом случае и вспоминать не стоит. Там все еще зыбче. Да, идея есть, но и только. Но без двигателя она — не более чем рисунок на бумаге. Тут даже чертежей не имеется. Кстати, за телефон я и не брался. Надо Шпаковскому написать, чтобы пришел для разговора. Значит, и эта тема уходит пока в тень.

Второе, о чем я вспомнил — железная дорога. С Фаррухом. Вот это другое дело. О чем меня просил перс? О создании компании в обход официального МИДа. Но при этом он упоминал, что наш государь знает об этом начинании и дает ему зеленый свет.

«Но не будет его поддерживать сам», — тут же одернул я себя.

Ну конечно! Это ведь та самая политика, в которую я никогда не хотел особо лезть. Свое «добро» император может и дал, но если сам начнет все организовывать, то гарантированно рассорится с шахом Персии. И смысл ему тогда нас поддерживать? Нет, эта тема тоже получается под запретом. Вот с Еленой Павловной поговорить и спросить — есть ли у нее знакомые дельцы, не работающие с нашим МИДом и персами, но желающие пробраться на зарубежный рынок, стоит. Так что и эта тема «в топку».

Третье: мои патенты. Унитаз. Канцелярские мелочи. Мебель-трансформер. Я мысленно поморщился. Нет. Даже не упоминать. Во-первых, это не тот разговор. Во-вторых, императору, который думает о флоте, реформах, о крестьянском вопросе, я буду рассказывать о складных стульях? Это глупо. И мелко. Патенты — мое дело, мое обеспечение, и лезть с ними к государю — значит, выставить себя торгашом. Не нужно. И выходит, что остается лишь две темы: только что исполненные мной песни и, возможно, проект крестьянской реформы, который мне поручила Ее Высочество. Что интересно — император ведь ушел вместе с ней. Потому мне надо быть готовым к его вопросам именно на эти темы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.